

Максим Горький

Рассказ о необыкновенном



Максим Горький

Рассказ о необыкновенном

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665485

Аннотация

«В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пёстрой комнатке «мавританского» стиля, загрязнённой, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув её, на ней тяжёлый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

18

Максим Горький

Рассказ о необыкновенном

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пёстрой комнатке «мавританского» стиля, загрязнённой, неудобной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув её, на ней тяжёлый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрёпаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустики жёлтых, редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щётку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределённой окраски, – обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное остриё, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вы-

звал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору, – я упросил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую, тёмную губу. А иногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивлённо расширяются.

Оставляя больную ногу неподвижной, он всё время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Тёмные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пёструю – золотую, красную, синюю – стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплёта рамы, ищет чего-то на широкой, тёмной полосе пустынной Невы.

Расстёгивая и вновь застёгивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдалённо, глубоко из груди.

По месту жизни, по бумагам – я сибиряк, а по рождению – русский, рязанец из-под Саватьмы¹. Слово это – Саватьма – осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

– Мы из-под Саватьмы.

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это – река, а вода в ней необыкновенно чёрная, однако никому об этом, – даже товарищам, ребятишкам, – не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал:

– Дурак, не Саматьма, а – Саватьма, и не река, а – город, уезд.

Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой – нет.

Деревню свою – не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жильё, а игрушку;

¹ сейчас – село Саватьма Ермишского р-на Рязанской области, на реке Сурёнке – Ред.

есть такие игрушки: домики, церковки, скот, всё вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зелёной краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности – объелся рыбой. Пошёл я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

Это был человечище кряжистый, характера тяжёлого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчёте у бога: сами грехом не брезгают, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за всё и, ещё будучи подростком, увидел бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать – каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а всё ещё едят, покраснеют, надуются, а всё чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда – в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично наряжаются и всем стадом – гонят в церковь, за двенадцать вёрст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены, – один

в солдатах, — две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены — дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена — зверь баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был ещё батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом ещё старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

— Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то.

А тот отвечает:

— Заживёт и без того. А охромеет — выгода, в солдаты не возьмут.

Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

— Конечно — уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они — окаянные.

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Со всем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одёжу починит и рубахи пошьёт. Братья, невестки не любили её, смеялись над нашей дружбой.

— Какой он тебе жених, когда хромой!

А у неё этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась – редко, а улыбнётся – сразу легче станет мне. И не плакала; побьют её, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако – злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймает цыплёнка, стиснет его в ладонях и задавит.

– Зачем ты это?

Не сказывала, только плечиками поведёт. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушёл. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю:

«Надо там жить».

А где это село – не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однажды даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы – мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежду почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить

выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придрюковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище моё Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языков. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следовательно и говорит:

– Ты сам сознался, что по чужому виду живёшь; значит – скрываешься от воинской повинности али от чего-то и ещё хуже.

Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено – хромой, стало быть это я и есть, Зыков. В Сибири никто никому не верит.

– Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а всё-таки надо собрать справки о тебе.

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

– Вовсе ты не Зыков и не Языков, а – Язёв, потому что у тебя морда рыба.

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, всё думаю: как это допускается – морить человека в

тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лёжа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три, – тут и всё. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу, «Богородицу-деву» – трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера – глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня, ещё семеро, – четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик – высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснётся раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив её водою, расчесет голову, бороду, застегнётся весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось – умный сектант!

Слесарь – чёрный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят,

усики чернеют. Глаза – как у киргиза. Лощёный весь и на тюленя похож, на учёного, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, одна, когда воры заснули, слышу я – старик ворчит:
– Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и дают. Упрощение жизни надо сделать.

Слесарь – досадует, бормочет:

– И я про то же говорю.

– Врёшь. Ты – вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты – особенности доби- ваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут – горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одежде, все различия между людей. Это всё надо – прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть – там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот – пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.

Слышу я – правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на всё отвечает, у неё естество густое, её хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я

и сам дурачком притворялся. Так – спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я – слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: всё на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное – уничтожить, никаких отличий ни в чём не допускать, тогда все люди между собой – хотят, не хотят – поравняются и всё станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, – попов, купцов, чиновников и вообще господ, – запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

– Душу окрылить надо, – доказывал старик. – Главное – свобода души, без этого нет человека!

Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:

«Господи Иисусе, какая простота святая живёт между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры ещё больше смеются надо мной.

– Глядите, Язёв о невесте думает!

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, всё слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать

слесаря, резко говорил он, а в то время бог ещё был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:

– Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится.

Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

– Иди, иди, Яков, ищи своё счастье.

Конечно, я рассказал ей всё, до чего дошёл, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:

– Всё – верно. Так и надо.

Я – ей:

– Шла бы ты со мной, Любаша!

Забоялась:

– Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе её я себя видел, как в зеркале. Прощалась – заплакала однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барина

разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своём был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки – красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому:

«Не притворяйся, я твоё уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жажен, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кричит, песенки сквозь зубы поёт и всё отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И – побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

– Ага, явился, мешок кишок!

Это у него любимая поговорка была – мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сунет руки в карманы и – шутит. Поднёс мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришёл на кухню:

– Ну, говорит, рассказывай!

Было это зимней порой, к ночи, выюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает, – борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не

говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всём даже до того, что задумаюсь и – будто нет меня, только одна душа в воздухе живёт. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старики, про слесаря – доктор хочет:

– Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить – легче, умному – забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который всё простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом – чернозём. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это – закон!

Ловко говорил; будто в мешок зашивает меня. И, конечно, шутит:

– Надо, говорит, смотреть на всё с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая.

Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки – тол-

стые, в переплётах, их два шкафа, а эти – тоненькие, детско-го вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю:

«Как мне знать, правильно ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшней, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.